

## Юрий ДЮЖЕВ

*Юрий Иванович ДЮЖЕВ родился в 1937 году в Ленинградской области. Литературовед, критик, автор многих книг и статей по русской литературе. Доктор филологических наук. Член Союза писателей России. Живет в Петрозаводске.*



# ХРАНИТЕЛЬ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ

**Б**орис Викторович Шергин — один из той плеяды подлинно русских, национальных писателей, чье вдохновение и после Октябрьской революции питалось идеями славянофильства, чувством богоизбранности России и кто вынужден был тщательно скрывать свои взгляды из страха подвергнуться преследованиям власти. Сохранился черновик письма Максима Горького тогдашнему редактору “Правды” Л.Э.Мехлису, в котором давалась чисто большевистская оценка “неонародническим настроениям” в советской литературе начала тридцатых годов и говорилось, что “течение — созданное Клычковым-Клюевым-Есениным, оно становится все заметней, кое у кого уже принимает русофильскую окраску и — в конце концов — ведет к фашизму”<sup>1</sup>.

Идеология крестьянских поэтов, воспевающих патриархальный мир деревни, с самого начала была враждебна большевикам, которые физически уничтожали лидеров этого литературного направления, а их произведения исключали из круга чтения.

Репрессии впрямую не коснулись Шергина, но, судя по его дневникам, он трагически переживал раздвоенность своего существования в советский период, когда вынужден был на потребу дня писать “новинки” с прославлением Сталина и Ленина, быть в одной писательской организации с людьми чуждыми ему убеждений: “Вот я твердо, ясно и несомненно знаю, что мое дело жизненное... А оказался я с теми, кто дьяволу на-

нялся свины рожцы возделывать и плевели в умы братьев моих всевать. И хоть самый ленивый я в них, однако “лай не лай, а хвостом вилай”<sup>2</sup>.

Шергин не решился взойти на эшафот вслед за Ганиным и Клюевым, выразить в своих произведениях открытое неприятие несправедливой власти, и он болезненно переживал свою слабохарактерность: “Слаб мой дух... Будто собака, потерявшая хозяина, тычусь я невпопад, под ногами мира сего. И никому нет дела до меня, а иной и пнет. Я долго гарчу из-под лавки, а укусить не смею”. Существовая после революции в постоянных нехватках, в заботах о куске хлеба и полене дров для обогрева своей подвальной комнаты, Шергин вынужден был для самосохранения надеть маску тишайшего сломенного физическим недугом старика-инвалида, чем сохранил себе жизнь в годы культа личности. Но как бы ни гнула власть хрупкий росток творческого вдохновения писателя, он тянулся ввысь, к “пренебесному”. Писатель был уверен, что “северный человек, почитая церковь “земным небом”, считает что здесь все должно быть не такое, как в сем мире. И глаза, и ухо должны видеть и слышать “пренебесное”, надмирное, высокое... Условно-идеалистическая живопись... вот что требует душа Северной Руси”. Творчество Шергина и есть попытка уйти от советской действительности, где “все потоптано, забыто. Счета нет истинным негодям, преступникам, мерзавцам” — в иной, условно-идеалистический

<sup>1</sup> Цит. по ст.: Примочкина И. Павел Васильев: “Но как не хватает воздуха свободы!” “ЛГ”, 1991, 16 окт.

<sup>2</sup> Шергин Б. *Изящные мастера: Поморские быльины и сказания*. М., 1990. с.337. Далее цитаты по этому изданию.

мир Северной Руси, где только и сохранились “правда, любовь, красота, честь, милость, прощение, мир Христов, радость, вера”. Это было одновременно и возвращением в красоту детства, когда в той же Нёноксе “впервые вглядывался я в окружающий мир Божий. И самыми сильными, самыми разительными были непосредственные впечатления северной природы”.

Воспоминания детства были для писателя “богатым наследством”: “Неизживаемое, неотымаемое, непохитимое, неистощимое. Не говорю с тоской — их нет, но с благодарностью — оно есть у меня, оно при мне. Золотое детство не воспоминания для меня, а живая реальность. И она веселит меня. В труде весь свой век и весьма небогато жили мои родители. Но жили добротечно. И тихое сияние этой благостной добротечности чудным образом светит и мне”.

Борис Викторович Шергин родился в Архангельске 16 (28) июля 1893 года в семье помора. Отец Виктор Васильевич в звании матроса, затем штурмана и шкипера всю навигацию ходил в море. Имел степень корабельного мастера первой статьи. Отца ребята видели дома в Архангельске только зимой. Он любил рисовать и написал сыну азбуку, украсив текст красочными изображениями рыб и птиц, кораблей и пароходов. Будучи искусным рассказчиком, умел поведать о пережитом, слышанном и читанном так, что оно навсегда оставалось в детской памяти. Зимой в свободный час мастерил модели фрегатов, бригов, шхун, и эту страсть передал сыну. Будучи бывалым охотником, брал с собой мальчика в лес. С отцом на десятом году жизни Шергин попал в море на тресковый промысел.

Мать Анна Ивановна происходила из семьи потомственных архангелогородских кораблестроителей. В первую встречу жених застал ее дома за чтением старинной поморской книги, и они нашли общий язык, рассматривая художественные миниатюры “Винограда Российского” — книги Андрея Денисова (1675—1730), основавшего на реке Выг “общежительство” для преследуемых со стороны церкви и царя. Семья Шергиных разделяла убеждения поморской веры — старообрядческого согласия, отрицавшего церковную иерархию (бесполовцы), и юноша под влиянием родных и близких (особую роль сыграли друзья отца и матери старовер Пафнутий Осипович Анкудинов и знаток старин “домоправительница” Наталья Петровна Бугаева) стал убежденным сторонником старой веры. В письме фольклористу Ю.М.Соколову от 8 августа 1916 года он вспоминал, что в своих путешествиях по Шенкурскому уезду, встречаясь с людьми, предубежденно отно-

сящимися к старообрядчеству, он “с жаром “грызся за веру”: “И действительно, это очень все важно и серьезно. И живучи в Москве, мне было важнее всего узнать, какая вера правая — поморская или белокриницкая. Староверчество — это та стихия, в которой я могу раствориться душой и как художник и просто как человек...”<sup>3</sup>.

Старообрядчество для юного Шергина стало на время осью его мирозерцания, и в спорах с противниками поморской веры он чувствовал свою приобщенность к “мировой миссии хранения чистой истины Православия” и защищал в христианстве “откровение о пришествии на землю и создании вместо этого грешного, нечистого мира другого, сплошь святого, ритуально-святого, т.е. материально святого, Иерусалима-Китежа”<sup>4</sup>.

Не удивительно, что Шергин всю жизнь хранил в душе и пронес через все испытания “небесный Град... некий Китеж, недосыгаемый, святой” и так любил писания “расколочителя” протопопа Аввакума — “удивительное, яркое проявление русского духа”.

Старообрядчество для юного Шергина было проявлением высшего взлета русского национально-религиозного самосознания. В понимании значения раскола и роли православной церкви в русской истории юный Шергин был близок к другому северянину — Николаю Клюеву. Оба они росли и воспитывались в семьях, где верили в возможность строительства на земле христианского царства, основанного на принципах справедливости; где святыни церковные, чины и обряды богослужения ошущали, подобно всем семьям староверов, “как уже раз набранные и освященные сосуды благодати Божией, в их священности неприкосновенные” (А.В.Карташев). Детские воспоминания Шергина, как и Клюева, любовно рисуют устройство домашнего быта в духе древнецерковного спасительного благочестия, с верой в чудодейственность намоленных праотцами икон, в священность и неприкосновенность чинов и обрядов богослужения. Религиозное настроение пронизывало все устройство “жизни живой” обеих семей. С малых лет, вспоминает Шергин, привык он слышать святые имена соловецких угодников Зосимы и Савватия, видеть иконы их, перечитывать Соловецкий патерик (Санкт-Петербург, 1873). “Семья хоть раз в лето собиралась на богомолье на Соловки, где встречалась с двоюродным братом матери,

<sup>3</sup> Письма Б.В.Шергина к Ю.М.Соколову. “Русская литература”, 1984, № 4, с.164. Публ. Т.Г.Ивановой.

<sup>4</sup> Карташев А.В. Смысл старообрядчества. “Сввер”, 1996, № 7, с.154.

монахом Иустинианом, считавшимся “уже как бы в чине ангела”. Не исключено, что в путешествии на Соловецкие острова юный Шергин мог оказаться в одной толпе богомольцев с Николаем Ключевым. Как и у олонецкого ведуна, сердце Шергина “склонялось в сторону старOVERия. Жил я в северном городе, где народ вообще уважает старину... Много лет страсть к древней иконописи и к древнему церковному пению, любовь к старому обряду были моей жизнью”.

Исторические документы, эпистолярная литература Древней Руси, жития русских святых были для Шергина “крыльями, которые перенесут тебя в ту эпоху”. И Ключев, и Шергин любили Святую Русь Сергия Радонежского, сохранившийся на Севере дивный быт Руси XIV века, любили, думая о Родине, прикипать к прошлому, “вечно живому”. В писательской молодости Ключев и Шергин отдали дань бережному собиранию икон, старинных рукописных книг, владели русской народной культурой, причем интересовались ею, по признанию самого Шергина, “в старообрядческом духе”, а это означало их особый интерес к духовной поэзии: историческим, обрядовым и морально-сентиментальным песням, чья живучесть и привлекательность строились на аскетической мысли о греховности земной жизни, о “поисках правды Божией”. Сыном света, чадом Божиим я могу быть, — писал Шергин в дневнике, — вместилищем радости нескончаемой, которую дает Христос любящим его”. Точно так же, как Ключев, который в детстве не однажды ощущал свое “избранничество”, отмеченность некими знаками свыше (то ослепит световой сигнал, то встретится космическое существо с невыразимо прекрасными очами), так и Шергин в четырнадцать лет праздновал некий “пир”, некий “брак” с дождем: “Я скинул одежонку и в восторге наг плясал в теплых потоках. Я как бы “восхищен был втай и слышал неизреченные глаголы”... Таких восхищений было в моей жизни несколько... Я как бы видел суть вещей”.

Окруженный любовью и заботой близких, имея возможность во время учебы в архангельской мужской гимназии им.М.В.Ломоносова спокойно отдаваться любимым увлечениям (чтению, рисованию, росписи утвари, созданию красочных орнаментов, икон поморского письма), Шергин рос мечтательным, тихим юношей, не слишком задумывавшимся о будущем. “И ничего-то единого, цельного, высокого не правил я в своей молодости, — вспоминал он впоследствии. — Как “проснулись чувства” в 15, в 17 лет, так и пошло десятка на два годов: “Чего-то нет, чего-то жаль; куда-то сердце мчится

вдаль”. Страстные порывы к “прекрасному”, к искусству, отчасти к поэзии, а более всего ухлопал, убил, погубил время и годы на увлечения более, увы, платонические. И над всем мечтательность, мечтательность безоглядная...”.

В 1913 году Шергин поступает в московское Строгановское художественно-промышленное училище, которое заканчивает весной 1917 года. Детство и юность остаются позади, и перед Шергиным встает вопрос о выборе собственного пути. В Москве во время учебы Шергин трудился в живописно-декоративной мастерской, овладел резьбой по дереву, росписью по эмали, работал с реставраторами икон. Руки его были постоянно в работе, душа же тянулась к прекрасному, что в представлении молодого человека было неразрывно связано с искусством народа.

Значительное влияние на Шергина оказали книги М.Пришвина “В краю непуганых птиц” (1907) и “За волшебным колобком” (1908), которые стали для него “настойными”. По примеру Пришвина Шергин решает стать исследователем жизни и нравов народа, истории Поморья. Осенью 1915 года в Москве на концерте пинежской сказительницы М.Д.Кривополеновой Шергин знакомится с артисткой и любительницей фольклора О.Э.Озаровской, исследователями фольклора братьями Б.М. и Ю.М.Соколовыми. Узнав, что Шергин владеет устной поэтической традицией, они привлекли его к выступлению рядом с М.Д.Кривополеновой в Обществе российской словесности и к иллюстрации своим пением лекций Ю.М.Соколова. От Шергина братьями Соколовыми были записаны две былины (“Про Олешу Поповича”), две баллады (“Князь Михайло”, “Василий и Снафида”), пять духовных стихов (“Старина о Соловецком монастыре”, “Иосиф Прекрасный”, “Стих о двенадцати пятницах”, “Пустыньники и пятница”, “Сон Богородицы”).

По признанию самого Шергина, встреча с М.Д.Кривополеновой и братьями Соколовыми разбудила в нем “почти забытое” и он стал “серьезно интересоваться фольклором”. Шергин ушел в Комиссию по сохранению древних народных песен в Архангельском обществе изучения Русского Севера и по заданию Московской диалектологической комиссии летом 1916 года совершил поездку по Шенкурскому уезду, где сделал записи местных говоров.

Увлечением фольклором объясняется и публикация на страницах газеты “Архангельск” в 1915—1916 годах статей о М.Д.Кривополеновой, П.О.Анкудинове и нескольких “старин” (“Василий и Снафи-

да”, “Старина о Соловецком разорении”, “Старина о князе Михайле”). Имя Шергина становится известно в кругах архангельских и московских специалистов по русскому фольклору, которые ждут от него новых открытий. Сам же он не скрывает в письмах к Ю.М.Соколову разочарования от “малой популярности” работы Комиссии по сохранению древних народных песен, от равнодушия местных жителей, и не подозревающих, что Архангельская губерния, наряду с Олонекской, считается “Русской Исландией”. Шергин не может согласиться, что когда он в Москве поет старины, то к ним “относятся просто как к отжившему, прекрасному (может быть) прошлому и серьезно прояться никто не хочет. А ведь это все Божьи люди сложили и все это надо”. На настойчивые советы Ю.М.Соколова отдать все силы фольклору Шергин уклончиво пишет, что в июле 1917 года ему предстоит идти в солдаты, а пока он любит белыми ночами, “светоносным днем” и занимается своим любимым занятием: “А думаю. Мечтаю”.

Из привычного для Шергина и впоследствии проклинаемого им состояния юношеской мечтательности выводят события 1917 года. В армию он так и не попадает, но зато неверно оказывается в самом пекле развернувшейся в Поморье гражданской войны. Революция и последовавшие за ней события, когда Архангельск был захвачен “белыми”, потом “красными” и русские убивали русских, стали тем водоразделом, с которого для Шергина начался отсчет нового времени. Его жизнь отныне раскололась на две противоположные части. Все самое заветное (душевно-сердечные отношения в семье, святость и красота народного быта) остались в прошлом, когда “бил родничок радости в сердце моем”. Никогда не отличавшийся политической активностью, не входивший ни в какие партии и тем более не сочувствовавший большевикам, Шергин оказался в полной зависимости от чуждой ему власти, установившей режим террора и голода. Привыкший жить в атмосфере добросердечия, Шергин стал одним из множества несчастных, у которых даже спустя четверть века после революции “на уме одно: как бы живым вообще остаться. Эта бедственная житуха заботит, трясет, мучает людей”. Революция вынесла на поверхность отбросы общества, и вокруг себя Шергин увидел вместо истово верящих в Бога и живущих по кодексу поморской чести труженников — иных людей, “не видящих Бога ни в чем”: “Люди — рабы страстей и хвляющиеся своими страстями, плотоугодные, злые, обидчики, начальники, угнетатели, скупые,

жадные сластолюбцы, ненавистники, люди глупые и тупые, клеветники, наушники, обжираловы (а вокруг голод), пышно одетые (а вокруг бродят нагие), такие вот “деятели” с одной стороны; а с другой стороны “массы” слабые, ленивые, характеры ничтожные, а в-третьих, — всякой средней руки обыватель, им же числа нет”. Все это надолго отвращает его от советской действительности как возможного объекта изображения.

Шергин не может найти себя в системе установленных большевиками отношений. Судьба наносит ему еще один удар: попав в толпе, в давке, под трамвай, Шергин лишается правой ноги и пальцев левой. В расцвете лет он становится инвалидом, с трудом преодолевающим с помощью палки даже небольшие расстояния. Чтобы заработать на хлеб насущный, он в 1917—1919 годах сотрудничает в Архангельском обществе изучения Северного края, устраивает выставки, собирает и чинит коллекции и изготавливает макеты для местного краеведческого музея. Шергин работает художником-инструктором кустарно-художественных мастерских Архангельского губернского совнархоза, где занимается резьбой по кости, деревянными и глиняными игрушками. С 1922 по 1930 гг. Шергин — штатный сотрудник Института детского чтения и литературы в Москве. Здесь он заведует художественно-этнографическим бюро, изучает оформление детских книг, а также “теорию и практику рассказывания”. Именно слава первостепенного рассказчика, знатока фольклора и проложила Шергину путь в московский институт, где одной из главных и любимых им обязанностей стало выступление перед детской аудиторией с исполнением воспринятых с детства “старин”.

Но и переехав в Москву, Шергин не теряет связей с родным городом. По воспоминаниям его земляка Б.Пономарева, Шергин осенью 1922 года выступает в Архангельской публичной библиотеке и в клубе работников с исполнением северных сказов и былин. В октябре 1934 года Шергин выступал перед архангельскими школьниками и преподавателями литературы с рассказом о значении фольклора в художественном творчестве писателя.

Особой творческой активностью в эти годы Шергин не отличался, признавался в дневнике, что “годов до тридцати, тридцати пяти я мало писал: расписывал и разрисовывал стены, двери, бумажные листы. Потом был у меня период годов с десять — записывал редкостные мои мысли как попало, чем попало, на полях газет, на коробках. Записывал ни для кого”. На страницах сборника

Архангельского общества краеведения “На Северной Двине” (1924) Шергин опубликовал сказку “О рыбе Ерше и о рыбе Леще, как у них суд был за славное озеро Онего” и три “старинны”. В примечаниях к сказке автор подчеркивал, что она “представляет собою северный вариант “Повести об Ерше Щетинникове”. В других случаях он указывал, что публикуемые произведения являются записями, сделанными в Архангельске от конкретных лиц (мещанки из Неноксы и т.д.). В том же году в Москве Шергин публикует первую свою книгу “У архангельского города, у корабельного пристанища”, названную им “сборником старин” и оформленную собственными рисунками. В нее вошли произведения устного народного творчества, услышанные им в детстве.

Первая книга Шергина стала и первой в ряду намеченных Институтом детского чтения публикаций русского фольклора, что особо отмечалось во вступительной статье профессора А.К.Покровской. Счел необходимым обратиться к читателям и сам автор, чтобы сказать о своей беззаветной любви к студеному северному морю, архангельским светлым туманам и выразить надежду на приближение того счастливого времени, когда “былинные словеса” будут петь и слушать не час и не неделю, а “век человеческий”.

На безупречную достоверность составивших первую книгу Шергина фольклорных записей указывали многие знатоки устного народного творчества. Безусловно, книга обладала особой, специфической для фольклора поэтикой. Термин “былины-новеллы” впервые появляется в предисловии А.Д.Григорьева к публикации собранных им архангельских былин и исторических песен, откуда он и позаимствован Шергиным. Его знакомство с этим собранием русского эпоса не только отразилось в ранней статье Шергина “Былина в Архангельске”, но и засвидетельствовано в письме Шергина Ю.М.Соколову от 3 ноября 1915 года, где Шергин извиняется за длительную задержку взятого у фольклориста тома “Архангельских былин” Григорьева.

В отборе фольклорного материала Шергин разделял точку зрения Григорьева, для которого понятие “старина” гораздо шире понятия “былина” и включает в себя “былины богатырского характера, былины-фавлы, былины-новеллы, некоторые близкие к былинам духовные стихи, а также большую часть древних исторических песен”<sup>3</sup>.

Все эти фольклорные жанры были ши-

роко распространены в Поморье и Пинежском крае и стали основой репертуара М.Д.Кривополеновой, учеником которой считал себя Шергин.

Судьба Шергина удивительным образом переплетена с судьбой известной сказительницы былин. Не попади Шергин на московские гастроли М.Д.Кривополеновой — не состоялась бы его встреча с Ю.М.Соколовым, который и пробудил в юноше желание серьезно заняться фольклором, помог впоследствии перебраться в столицу и поддержал его первую книгу. Именно вдохновенное исполнение М.Д.Кривополеновой “старин” подтолкнуло Шергина к “сказыванию” устнопоэтических произведений в манере, присущей поморской сказительнице. Как и М.Д.Кривополенова, Шергин особенно любил духовные стихи, в исполнении которых не знал усталости. Как и его знаменитая землячка, Шергин, кроме старин о богатырях, былин-новелл и исторических песен, был пристрастен к скоморошинам. Вслед за М.Д.Кривополеновой, исполнявшей “Путешествие Вавилы со скоморохами”, Шергин сказывал близкую по содержанию скоморошину, где Вавила со скоморохами опять же не были объектом насмешки, а выступали как люди искусства, творящие чудеса. Именно от знаменитой землячки Шергин в компоновке традиционного сказочного материала перенял то “сочетание фантастичности и сказочности вместе с бытовыми и реальными чертами”<sup>6</sup>, о котором говорилось на вечере Архангельского круга любителей изящных искусств перед началом исполнения М.Д.Кривополеновой ее старин.

На Шергина огромное впечатление произвел сам образ жизни М.Д.Кривополеновой, которая, будучи почти нищенкой, питаясь подаяниями от добрых людей, сумела сохранить радостное восприятие мира. Не раз и не два вспоминая Шергин свою землячку в тяжкие минуты своей жизни и по примеру ее убеждал себя: “Что мне в теле моем, болящем, имеющем разложиться? Мне важен дух, поддерживающий, окрыляющий тяжесть тела. Чувства мои должны питаться только радостью”. У Шергина и у Кривополеновой эта радость проистекала из эстетики и философии народной поэзии, испокон веков озаряющий жизнь немеркнущим светом добра и любви.

Анализ фольклорных публикаций Шергина показывает, что в поиске фольклорных сюжетов он использует в основном три ис-

<sup>3</sup> Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д.Григорьевым в 1899–1901 гг. Т.1. СПб., 1904, с.13–14.

<sup>6</sup> Каретников А.А. Мария Дмитриевна Кривополенова, сказительница былин. Архангельск, 1916, с.6.

точника: врезавшиеся в память с раннего детства “старины”<sup>7</sup>; услышанные и записанные Шергиным в путешествиях по Северу былины, сказки, баллады, духовные стихи, скоморошины; и наконец, публикации северного фольклора, сделанные А.В.Марковым, А.Д.Григорьевым, Н.Е.Ончуковым, Д.К.Зелениным, братьями Б.М. и Ю.М.Соколовыми.

С самого начала работы в Институте детского чтения во время выступлений перед юной аудиторией Шергин столкнулся с необходимостью творческого отношения к традиции. Его слушатели, непоседливые и шумные, не выдерживали многочасового исполнения “старин” в их классическом варианте. Если на Севере даже в середине двадцатых годов, как отмечал Е.Тагер, былины во множестве пелись и слушались, “отвечали врожденному чувству, а в известной мере и историческому любопытству — поскольку речь идет об исторических героях”<sup>8</sup>, то внимание детей можно было захватить разве лишь драматическими поворотами сюжета, острым словцом, веселой шуткой. Поэтому после выхода в свет первой книги Шергин в своих устных выступлениях, а затем и в публикациях фольклора начинает отходить от классических текстов, что видно из сравнения старины “Иван Грозный и его сын”, записанной А.Д.Григорьевым в начале века в Колежме от сказительницы Авдотьи Лупентьевны Коппальной, с обработанным Шергиным фольклорным текстом.

Вариант Шергина приближен к современному слушателю: он стал в полтора раза короче за счет исключения диалектизмов типа “скрыцал”, “ляги” и отказа от отработанного веками набора готовых формул. Шергин уточняет место казни и в целом предлагает иное словесное оформление “старины”, тем самым отходя от сложившейся в среде севернорусских сказителей традиции перенимания былин. Известно, что Трофим Рябинин, творчески осваивая традиционные сюжеты, “нередко их заново перестраивал в определенной последовательности, вводя эпизоды, которые дополняют очертания героических характеров”<sup>9</sup>.

Но при этом, как пишет Н.А.Криничная,

<sup>7</sup> “Первая моя книжка “У архангельского города, у корабельного пристанища” — это ведь запись устного репертуара моей матери, — говорил Шергин в беседе в Ю.Ковалем. — Мать умерла в том году, когда вышла книжка”. — См.: Коваль Ю. Вельсье сердечное. “Новый мир”, 1988, № 1, с.159.

<sup>8</sup> Тагер Е. Искусство и быт Севера. “На Северной Двине”. Сб. Арх. общества краеведения. Архангельск, 1924, с.30.

<sup>9</sup> Криничная Н.А. Жил в Кижской волости крестьянин... СПб., 1995, с.41.

он всегда сохранял величавость былинного повествования, выдерживал песенный размер и эпический склад повествования. Шергин же в своих “старинах”, опубликованных после выхода в свет первой своей книги, уже не боится отойти от варьирования одной и той же темы, от традиционных эпических формул и приемов и нарушить сдержанность эпического стиля.

По сути Шергин заново переписывает текст старины. Поэтому трудно согласиться с мнением Э.Померанцевой (фольклористка всегда доброжелательно поддерживала творчество Шергина и своими работами помогала укрепить его писательский авторитет), что Шергин обычно “ограничивает свое вмешательство в былину, стремясь донести до читателя ее традиционный текст в подлинности и нетронутости”<sup>10</sup>.

На самом деле Шергин мог так изменять фольклорные тексты, что они становились уже его авторскими произведениями, созданными по мотивам народной поэзии. И здесь интересным выглядит предложение фольклористки С.М.Лойтер ввести в науку термин “литературная былина”, к которым она относит былины Шергина “Авдотья Рязаночка” и “Сухман Непрович”. Исследовательница подробно и убедительно анализирует писательскую интерпретацию фольклорных образов и приходит к выводу, что у Шергина в “Авдотье Рязаночке” постоянно совмещаются различные поэтические системы (лирические песни, былины, причеты), тогда как в народной поэзии такого слияния художественных систем в рамках одного произведения быть не может. Соединив две культуры — народнопоэтическую и книжную, Шергин обогатил традиционный и фольклорный образ своим поэтическим индивидуальным видением: “Он развернул его, наполнил конкретным жизненным содержанием, хорошо представляемым поэтическими картинами, сценами, деталями”. Профессор С.М.Лойтер убедительно показывает, что стиль другой былины Шергина — “О Сухмане Непровиче” — это авторский, литературный стиль, соединяющий древне-фольклорные языковые обороты с современной народной речью, что Шергин “выступает как поэт, сознательно творящий”<sup>11</sup>.

Однако не сразу и не с первой книги начинается Шергин движение от фольклора — к литературе. Потребовалось время, чтобы он

<sup>10</sup> Померанцева Э. Писатель-сказитель. “На рубеже”, 1960, № 5, с.122.

<sup>11</sup> Лойтер С.М. Фольклорные сюжеты и образы в книгах Б.Шергина для детей. “Проблемы детской литературы”. Межвуз. сб. Петрозаводск, 1979, с.85, 90.

осознал ограниченность средств “чистого фольклора”, то есть “фольклора как по происхождению, так и по курсированию, обращению... фольклора, индивидуально никем не созданного... дожившего в устной передаче до наших дней”<sup>12</sup>.

Отойдя от “чистого” фольклора, ведущего существование от доисторических времен, Шергин начинает создавать произведения, которые можно считать фольклорными, но которые на поверку по происхождению являются авторскими, литературными.

Книгой, которая обозначила вхождение Шергина в литературу и стала первым его авторским произведением, оказался сборник сказок с озорным названием “Шиш Московский” (М., 1930). Идея этой книги вновь берет начало в творческом наследии М.Д.Кривополеновой. Сказительница, по свидетельству слышавшей ее исполнители О.Э.Озаровский, любила петь не только былины и исторические песни, но и “скоморошьи” старины, — они отличались не только шутивым содержанием, но и складом и быстрым веселым напевом. По замечанию А.Д.Григорьева, записавшего немало таких “шутовых старин”, “старин-фальшо” в Пинежском крае, их распространенность в деревнях вдоль реки Пинегги указывала на “влияние скоморохов”. Герой этих “скоморошьях” старин, как это присуще в целом “смеховому миру” Древней Руси, чаще всего смеялся над самим собой, над своими злоключениями и неудачами: “Смеясь, он изображает себя неудачником, дураком. Смеющийся “валяет дурака”, паясничает, играет... В каком-то отношении “дурак” умен: он знает о мире больше, чем его современники”<sup>13</sup>.

Таков герой встретившихся А.Д.Григорьеву в Пинежском крае скоморошьях старин о проделках Васьки Шишка. Таков и главный персонаж книги Шергина “Шиш Московский” — из неудачников, обнищавших до предела, не имеющих ни кола ни двора “дураков”. Он вызывает смех окружающих проделками, которые выставляют в шутовском свете его личность. Он смеется над самим собой, над собственной нерасторопностью, доверчивостью, честностью — чертами, которые оказываются ненужными в этом жестоком мире и которые становятся причиной неудачных попыток выбиться в люди, разбогатеть, обрести дом и двор. Но, смеясь над самим собой, он зорко вглядывается в лица окружающих и видит за этими хохочущими над его бедствиями рожами —

дурость и глупость “нормального” мира. С этой зрения шергинский “Шиш Московский”, будучи родом из деревенских дураков, — “разоблачитель и разоблачающийся одновременно”.

Нельзя забывать, что широкое распространение былино-фальшо, скоморошин было зафиксировано исследователями в начале XX века, когда в развитии эпоса настал момент определенной потери народного интереса к описанию героических схваток с чудовищами: “Схватка с такого рода чудовищами начинает терять свой героический характер. Она начинает приобретать характер авантюрно-занимательный” (В.Я.Пропп). Исторические и экономические условия жизни крестьянства начала XX века приводят к распаду былинного эпоса и к деградации традиционной сказки, к некоторому перерождению ее. В сказку проникают детали реальной действительности, она встает “на тот путь модернизации, который явится основной особенностью сказки советской эпохи”<sup>14</sup>.

И по времени действия (русская деревня в пореформенную эпоху), и по особому, условному “сказочному” реализму (безмянность героя, живущего где-то на Руси, в какой-то неназываемой деревне и противостоящего тоже безмянным трактирщикам, попам, деревенским мироедам), по богатству комических ситуаций, разработанных не за счет психологизма, а через мастерское построение диалога, индивидуализацию речи, точно найденные детали, книга Шергина о приключениях крестьянского сына Шиша Московского находится в русле сказочной традиции. Но в отличие от представителей традиционной старинной сказки, не осмеливающихся затронуть ни фабулу сказки, ни сюжет ее, а лишь трактующих тот или иной знаковый им сюжет, Шергин насыщает сказку новыми чертами, заново komponует сказочный материал, делая его “фактом литературы, подчиняя произведения коллективного народного творчества своей воле писателя” (Э.Померанцева).

Сказки Шергина — это своего рода “небылицы в лицах”. Тот прием, который использовала М.Д.Кривополенова, чтобы рас смешить слушателей невозможностью, фантастичностью, происходящего в ее “небылицах” (“По синю мору да жорнова плывут, небылица в лицах, небывальщина”), Шергин применяет к материалу крестьянской жизни и высекает смех из “вывернутости”, неупорядоченности мира, в котором вынуждены обитать его герои. Как и в “смеховом мире”

<sup>12</sup>Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М., 1976, с.24–25.

<sup>13</sup>Лихачев Д.С., Панченко А.М. “Смеховой мир” Древней Руси. Л., 1976, с.4–5, 19.

<sup>14</sup>Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки. М., 1965, с.136–138, 158.

Древней Руси, в жизни персонажей “Шиша Московского” наличествует известный элемент чепухи, маскарадности. Чтобы быть смешным, этот шергинский “антимир”, как и в литературе Древней Руси, “должен быть миром скитаний, неустойчивым, миром всего бывшего, миром ушедшего благополучия, миром со “спутанной знаковой системой”, приводящей к появлению чепухи, небывлицы, небывальщины (“Смеховой мир” Древней Руси”).

Таков мир, в котором обитает Шиш: из дому его гонят старшие братья; в трактире отказывают в обеде; в школе учат грамоте рукоприкладством; ревнивая любушка обжигает горячими шами. Все эти беды сваливаются на Шиша в его бесчисленных странствиях, когда он, оторванный от семьи, от крестьянской работы, утративший былое благополучие и материальную устойчивость, вынужден в поисках куска хлеба и теплого очага то хитростью выманивать у трактирщицы жареного гуся; то проучить грамотея-наставника, устроив ему в избе подобие дымовой завесы; то воспользоваться куриной слепотой желающей выйти за него замуж дочери богатого мужика и вовремя улизнуть восвояси.

Крестьянская жизнь дореволюционных лет в сатирическом изображении Шергина — это поистине мир “со спутанной знаковой системой”: за отсутствием хомута Шиш может привязать кобылу за хвост, зыкнуть на нее так, что та сгоряча и хвост оборвет; устроившись в чужой избе на ночлег, Шиш может упасть с полатей и задавить хозяйского ребенка. У Шиша нет “ни кола ни двора”: изба развалилась; дровник пустой; кухонные котлы сгорели дотла; скот разбежался. Он вынужден искать себе пропитание на стороне, обманывая зажиточных мужиков, глуповатых попов, заморских путешественников — “аглицких мистеров”. Как сказано было в названии одного из рассказов о Шише Московском, “дал Шишу потачку, дак и сам от него на карачках”.

Поскольку книга малоизвестного литератора была далека от “неонароднических” настроений, ее благосклонно оценили тогдашние организаторы первого всесоюзного съезда советских писателей: Шергину выдали писательский билет; избрали делегатом съезда; в содокладе С.Я.Маршака о детской литературе среди многих имен прозвучала хвала в адрес Бориса Шергина, “одного из лучших знатоков северного фольклора”.

Характерно, что во всех последующих сборниках Шергин ставил рассказы о Шише на последнее место, раз от разу сокращая их объем. Сатира все-таки не была коньком творческой палитры писателя, не отвечала

девизу его жизни: “Человек должен светить из себя”.

Позднее, составляя по просьбе Ю.Коваля автобиографию и список опубликованных книг, Шергин вспомнил “У Архангельского города, у корабельного пристанища” (1924), “Архангельские новеллы” (1936), но ни словом не обмолвился о вышедшей между ними книге “Шиш Московский”. Объяснение этому провалу памяти можно найти на страницах автобиографии, где Шергин, говоря о богатстве севернорусской речи, пишет, что северяне “уважали книги с содержанием героическим. Юмористических книг и журналов не читали. Однажды я дал старику, моему дяде, комплект юмористического журнала “Будильник”. Он вернул мне журнал со словами: “Что же отсюда можно вынести?”

Да и жизнь Шергина после выхода “Шиша Московского” сложилась так, что было не до смеху. В 1930-м он лишился постоянного заработка в Институте детского чтения, а все попытки (в том числе путем обращения к Ю.М.Соколову) найти работу в одном из московских музеев не дали результатов. Шергин продолжал изредка выступать на фольклорных вечерах с исполнением былин, но таких приглашений становилось все меньше. В середине тридцатых годов было модным приглашать сказителей из глубинки, публиковать творчество таких сказочников-мастеров, как беломорский рыбак М.М.Коргуев, петрозаводский рабочий Ф.П.Господарев, горьковский колхозник И.Ф.Ковалев. Что же касается Шергина, то в глазах фольклористов он, будучи москвичом, автором двух книг, писателем, был не столько сказителем, сколько литературным обработчиком народного творчества. Этому впечатлению невольно способствовал сам Шергин, при каждой публикации указывая, где и от кого записал тот или иной рассказ. Не имевший высоких покровителей, Шергин мог рассчитывать лишь на эпизодические литературные заработки да на скромную пенсию инвалида. Из-за ухудшившегося зрения Шергин ограничивает общение с “внешним” миром. Мучительным становится и сам творческий процесс, о чем говорит внешний вид его дневников, исписанных крупными разнокалиберными буквами, уложенными в неровную сетку разбегающихся строк. В конце жизни Шергин уже сам не записывал свои произведения, а просил это сделать родных и близких.

По мере наступления слепоты Шергин все более углублялся в воспоминания о детстве и юности, будучи убежден, что “школа писателя-мыслителя, как и всякого человека-деятеля, начинается в своей семье”. В его



памяти вставали прекрасные картины северной природы; он словно наяву слышал поморскую, пересыпанную ядреными пословицами речь, затейливую музыку песен. Шергин ищет источник творческого вдохновения в том времени, когда былины пелись и слушались, когда на Пинеге сохранилась полнокровная древнерусская культура. С середины тридцатых годов он отдает свой талант описанию “исконной красоты старинного быта, выветренной сквозняками века сего”, изображенно “древнего человека”, который “несравненно был богат чувствами, воображением, памятью”.

С детства излюбленным чтением Шергина были жития русских святых, писания протопопа Аввакума, созданный в раскольничьей Выгореции “Виноград Российский” Андрея Денисова. Он всем сердцем и на всю жизнь полюбил Святую Русь, черпал силы в подвиге Сергия Радонежского. Шергин был и оставался глубоко верующим человеком. “Я в церкви Христовой, и она во мне”, — писал он в дневнике. Будучи до революции одним из страстных защитников “старой” веры, Шергин позднее отходит от раскольников и полностью вверяет себя в руки православной церкви. Как писал он в дневнике, “слабохарактерность (это ли?) помешала мне перейти к старообрядцам”. При этом он стал одним из самых верных, истовых защитников церкви, убежденным, что стержнем “большого” искусства, как это было в XV веке, должна быть церковность, что религиозная тематика идет только на пользу литературе. Зрелый Шергин уже с сочувствием писал о холмогорском архиепископе Афанасии (1640—1702), который, будучи вначале яростным противником “никоновских новин”, после внимательного изучения святоотеческой литературы усомнился в расколе и многое сделал, чтобы “раскол не стал на Севере явлением массовым”. Огромная, всепоглощающая любовь к православной церкви сопровождает его на всем жизненном пути и диктует писателю стилистику, содержание многих его книг. Он начинает создавать серию произведений о своих земляках, простых людях, для которых “бытовое православие было стихией”.

Всегда любивший устную речь, писатель запоминает и записывает исповедь открывших ему душу людей, историю их предков и на этой основе создает книгу “Архангельские новеллы” (1936), куда, по его разъяснению, вошли новеллы и сказки, “бытовавшие на Севере, слышанные от бывалых людей”.

Работая над новеллами из жизни архангельских поморов, Шергин постепенно нащупывает свою писательскую манеру, которой он остается верен всю оставшуюся жизнь:

“Большинство моих рассказов — и устных, и печатных — идут от первого лица — “я”. Но это не я, Борис Шергин, это — и молодой моряк, и портниха архангельская... В большинстве случаев я передаю рассказ, слышанный мною от какого-то человека. Я запоминаю тему рассказа, а потом сам с собою наедине начинаю вспоминать услышанное вслух, а когда улягусь спать, вспоминаю на память, чтобы не забыть сюжет. Стараюсь встретиться с рассказчиком и в другой раз, а если не удается, я по памяти изображаю этого человека, изображаю словом. Вначале рассказ получается эскизно, сыровато, а потом уже начинается обработка. Я только тогда выношу вещь к слушателям, когда она зазвучит свободно, импровизировать считаю недопустимым. Рассказ должен быть художественным, должен быть готов в интонациях” (Коваль Ю. “Веселье сердечное”).

Далее, по словам Шергина, “указанный”, “улаженный” рассказ он выносил на сцену, продолжал его совершенствовать в устном исполнении и только позднее записывал и пускал в печать.

В предисловии к “Архангельским новеллам”, которое впоследствии вошло в очерк “Беломорская Русь”, Шергин приглашал читателя в воллшебный мир архангельского Севера, сохранившего остатки новгородской и феодально-московской культуры. Здесь, по его словам, ценят и поощряют талант сказителя; украшают песней любую работу; и от старика, и от молодого даже в наши дни можно услышать сказку-новеллу. Шергин рисовал своих земляков как людей поэтического склада, которые и в ежечасной речи, и в беседе поэтизируют, одухотворяют все, что их окружает дома, на работе, на промыслах. Он обращал внимание на красочный и образный язык северян, одержимых творческой радостью, на их умение так повернуть слово, что оно начинает блестеть разными гранями. Словом, Шергин обещал ввести читателя в царство красоты, добра, высокой нравственности. В таком духе он и оформил суперобложку, переплет, форзац книги и двадцать четыре иллюстрации, выполнив их в традиции народной северной русской живописи. Здесь и купидон, который словно спешит к зрителю, и условно нарисованная синими линиями река с надписью “Северная Двина”, и белые парусники...

Примерно в те же годы, когда Шергин работал над “Архангельскими новеллами”, другой северянин, Н.Клюев, читал на частных квартирах в Москве поэму “Погорельщина”, за что в 1934 году был арестован и сослан в Сибирь. Если у Шергина Беломорская Русь светится творческой радостью, то клюевская “Погорельщина” пронизана ожи-

данием близкого конца мира и наступления царство антихриста. Если герои “Архангельских новелл” уверены, что правда, святость, красота вечны и неизменны, и у них сладко и благоуханно поет душа, то жители Погорельщины видят возможность спасения только на “том свете”, не признают выжидания и компромиссов с властями.

Такое противоречие в тональности прозы Шергина и поэзии Клюева лишь отчасти может быть объяснено слабохарактерностью одного и сильной волей другого писателя. Да, оба они были с юности защитниками “старой веры”, но, когда новая власть заняла враждебную позицию по отношению к старообрядчеству, повели себя по-разному. Причина здесь была та же, по которой произошел раскол в Выговской обители в конце тридцатых — начале сороковых годов XVIII века. Тогда, желая спасти общину, выговский собор принял молитву за царя. Другая же часть единоверцев под руководством инока Филиппа не согласилась с таким решением, ушла из обители и основала на реке Умбе свои скиты. По мнению исследователей старообрядчества, выговские отцы с их тактикой компромисса, приспособления к миру отражали интересы купцов и промышленников Севера. “Отколовшаяся от поморцев часть беспоповцев образовала филипповский толк, соответствующий интересам прежде всего патриархальной прослойки крестьянства (преимущественно черносошного крестьянства Севера), мало связанного с рынком и ведущего натуральное хозяйство”<sup>15</sup>.

Если Шергин с его культом братьев Денисовых, своим происхождением из среды зажиточных промышленников Севера, в критический момент пошел по пути избранного его выговскими отцами компромисса с властью, то Клюев, певец патриархальной Руси, черносошного крестьянства, отказался молиться за нового царя, поклоняться “зверю” (т.е. антихристу) и был расстрелян.

В “Архангельских новеллах” Шергина нет и намек на эсхатологические настроения, характерные для клюевской “Погорельщины”. Все здесь красочно, празднично, весело. Героям новелл не приходится “орать” в поле — они с юности пристроены к торговому делу, ходят в море с артелью матросов, знают толк в корабельном мастерстве. Это уверенные в себе, крепкие телом и духом люди. Исследователю творчества Шергина Ю.М.Шульману в их облике увиделись “эпические, богатырские черты, воплощающие представления о безукоризненном, идеальном человеке”. В шергинской прозе три-

дцатых годов он обнаружил сплав достоверности реально-бытового жизненного факта с его фольклорным осмыслением, тесную связь с “древнерусскими житийными изображениями”.

В своей прозе Шергин действительно следует народной традиции. Так, вошедшая в книгу новелла “Мартышко” начинается с описания “гораздого” на работу помора, не раз ходившего на судах в Англию и Норвегию. Но этот достоверный факт служит лишь заповедью к истории его поистине сказочных приключений: после удачной картежной игры в заграничном городе он завоевывает симпатии местного короля, становится министром финансов. Шергин сохраняет основную схему сюжета социально-бытовой сказки. Как обычно, здесь действуют продувной мужик (помор), глупый барин (король) и влюбчивая барышня (дочь короля). Из народной сказки пришел в новеллу сюжет с “молодыльними” яблоками, съев которые “кривобока старуха” становится “гладка, румяна”, а капризная королева освобождается наконец от рогов на лбу. Как это и бывает в сказках, история завершается счастливой свадьбой героя с королевской дочерью.

От бытовой сказки о ворчливой, упрямой жене берет свое происхождение новелла “Барвара Ивановна”, которая метко и зло высмеивает лень, глупость.

Однако же герои этих и других “Архангельских новелл” вовсе не обладают эпическими, богатырскими чертами; они далеки от представления о безукоризненном, идеальном человеке. Сам автор именует Мартышко “прохвостом” за безудержную страсть к картам, к легкой наживе, к ресторанному питью и закускам. Недалеко от Мартышко ушел и супруг Барвары Ивановны Якунька, который, заманив жену в лес и утянув ее там в яму, по возвращении домой ставит самовар и радуется “приятной” жизни. Если героев былин “народ любит восторженной любовью” (В.Я.Пропп), то к персонажам “Архангельских новелл” читатель не может не отнестись с определенной иронией. Якунька и Мартышко происхождения свое берут из “скоморошья старин”, и родной их брат — Шиш Московский.

Далеки от древнерусских житийных изображений не только эти явно сатирические персонажи, но и “положительные” герои таких новелл, как “Аниса” и “Верховный бургомистр города Гамбурга Володька Добрынин”. Оба они, сын купца Санька и сын торговки Володька, полюбов поморских девушек, теряют их в водовороте жизненных испытаний. Ни деньги, ни слава не могут утешить парней, прежде чем, преодолев много-

<sup>15</sup> Миловидов В.Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем. М., 1969, с. 25, 27.

численные препятствия, они не находят суженых. Таких обремененных любовными переживаниями героев не могло быть в древнерусской литературе, которая, по замечанию ее исследователей, признавала только семейную, узаконенную любовь, “отвергая и любовь-страсть, и идеальное обожание прекрасной дамы” (А.М.Панченко).

Разумеется, Шергин прекрасно знал и богатырский эпос, и древнерусскую литературу, но кроме этих двух мощных источников писательского облечения он испытывал иные влияния. Из писателей XIX века Шергину были близки драматург А.Н.Островский и прозаик Н.С.Лесков.

В рассказе Шергина “Митина любовь” корабельный мастер встречает любимую на представлении пьесы А.Н.Островского “Гроза” (“Грозу” Островского представляли... Вместе ахнем, вместе рассмеемся”). Этот штрих служит опознавательным знаком, который указывает на нити родства между купцами Островского и промышленниками Шергина. И там, и здесь перед нами незаурядные личности с энергичной волей, с чутьем естественной правды. Традиционный для пьес Островского конфликт между страстью к обогащению и беспамятной влюбленностью проходит и через новеллы Шергина и опять-таки решается в пользу безоглядного счастья разделенной любви. Вслед за Катериной Кабановой, не побоявшейся восстать против старых, диких отношений, следуют велению сердца замужние женщины Аниса из одноименной новеллы Шергина и Мария Ивановна Кярстен из новеллы “Митина любовь”. Речь героев Островского и Шергина пестрит идиомами народного просторечия, фразеологическими оборотами народно-песенного характера, несет своеобразную печать воспринятой с детства церковно-житийной литературы.

Любил Шергин и словесную живопись Н.С.Лескова. В дневнике он писал: “Перечитывал “Запечатленного ангела” Лескова. Нельзя довольно удивиться богатству этой повести... Лесков несравненный мастер рассказа-монолога... Язык “Запечатленного ангела”, “Полуночников” и (местами растянутого) “Очарованного странника” навсегда видится нам струею чистою и живописною посреди мутноватых и подражательных и зачастую бездарных подражаний народной речи”.

С Лесковым Шергина сближала великая любовь к своему народу. Волшебство слова оба писателя высекали из глубокого и любовного постижения народного творчества, древней литературы, национально-религиозных идей. Оба писателя любили вести рассказ от первого лица, причем выбирали

рассказчиком человека из народа, с “наивным” взглядом на события и людей, речь которого была богата диалектными словами, разговорными интонациями.

Для Шергина устная речь всегда была “живой”, и при перенесении ее на бумагу писатель порой сохранял даже фонетическую запись, что не всегда шло на пользу тексту. Всю жизнь Шергин бился над тем, чтобы максимально сблизить слово устное и слово письменное. В “Беседных очерках” Шергин писал, что народная устная словесность и словесность литературная — это не две самостоятельные стихии, а стихии хотя и “неслиянны, но и нераздельны”. Своими произведениями Шергин пытался раскрыть перед читателем всю красоту и жизнь устной народной словесности и через нее — песенную и художественную душу народа. Былины, песни, сказания Шергин называл гнездами, свитыми под сенью вечно зеленеющего, густолиственного дерева, чья “тьмочисленная, тысячеголая светлошумная листва — это живая народная речь”. И когда от фольклорных публикаций Шергин переходил к литературным новеллам из жизни земляков, он стремился сделать так, чтобы со страниц книги бесчисленными голосами шелестела и звенела живая речь, будучи уверен, что живой творческий говор рождает поэзию.

“Я чувствовал в себе творческую радость до пятидесяти лет”, — писал в дневнике Шергин. “Архангельские новеллы”, родившиеся “от веселья сердечного”, действительно отмечены богатырским озорством писательской фантазии. Но при всей многослойности книги (на страницах которой соседствовали “Старина о госте норвежском” с веселыми “скоморошинами” “Дураково поле”, нравоучительная история Анисы с фантазмагорией жизни ставшего бургомистром Гамбурга Володьки Добрынина), в ней лишь косвенно нашли отражение детские и юношеские впечатления писателя. Шергин полагал, что он “малая капля, в которой отражается солнце народного художества”, что его жизнь недостойна быть объектом изображения и по скромности своей всегда старался спрятать авторское “я” то ли за личной неутомимостью “Шиша Московского”, то ли за веселым обликом сказочных героев. Поступал он так по примеру скоморохов, ряженных, во имя личной безопасности менявших облик и предпочитавших карнавальную маску Ивана-дурачка. “А я такой, я по-реченному: скоморох голос на гудке настроят, а житья своего не устроит”, — усмехаясь, говорил о себе Шергин.

Но существовали и объективные обстоятельства, по которым у Шергина так долго не было сознания личного авторства. Он

входил в литературу через освоение эпоса и чувствовал себя “дружинным певцом”, чье мировоззрение и настроение репертуара, по Веселовскому, обусловлены интересами коллектива: “Его песни не всенародные, а кружковые; они могли спуститься в народ, как наши былины в онежские захолустья, как сословный эпос в известных условиях становится простонародным”. Личность Шергина в первых трех книгах еще не выделялась из коллективного субъективизма промысловой поморской дружины, частью которой он себя ощущал. Выходя на сцену с пением былин, рассказывал “скоморошины”, повествуя о жизни архангельских поморов, он жил в родовой, племенной связи с ними и желал только одного: чтобы его песня понравилась, пригодилась, чтобы ее подхватили массы. У Шергина долгое время наблюдалась отмеченная Веселовским в “дружинных певцах” “проекция коллективного “я” в ярких событиях, особях человеческой жизни. Личность еще не выделилась из массы, не стала объектом самой себе и не зовет к самонаблюдению”<sup>16</sup>.

Самосознание певца, самосознание личности родилось в Шергине после успеха трех книг, после живого отклика на его выступления по радио (они вызвали сотни писем радиослушателей), после одобрительного отзыва Горького на его сказ “Рождение корабля”, где Шергин взял повествование на себя и стал рассказывать о своем детстве, об отце и матери, о друге семьи славном мастере корабельного дела Кононе Ивановиче. И оказалось, что лирика личного чувства близка творческой манере Шергина и позволяет ему более интенсивно выразить красоту вечного движения жизни.

Новая книга Шергина “У песенных рек” (М., 1939) открылась разделом “Перед зорями”, куда помимо “Рождения корабля” вошли и другие произведения автобиографического плана: “Мурманские зуйки”, “Поклон сына отцу”, “Старые старухи”. Перед читателями предстал рассказчик, бесконечно влюбленный в страну детства, где все живут по праведным законам добра и справедливости. Низкий поклон отвешивает автор своему отцу, открывшему перед мальчиком волшебное царство северной природы, красоту народных обычаев. Без шуток, без песен не могут свой век прожить “старые старухи” Наталья Петровна и Глафира Васильевна, даже дело — “избомытье” — превращающие в праздник труда. С радостью подставляют грудь морскому ветру мурманские зуйки, отправляющиеся вместе

со взрослыми на тресковый промысел: после долгой зимы им так любо в море, вокруг простор, ширь, свет. И как бы ни была тяжела их работа, а находится место и песне, и частушке, и “небылицам в лицах, небывальщине”. Волшебным светом озарены страницы, повествующие о “рождении корабля”. Мастер Конон Иванович Тектон под пером художника вырастает в библейского размаху фигуру строителя Ноева ковчега. Как у тела человеческого на хребте утверждены ребра, так в колоду, в хребет судна он вращивает ребра корабельные — шпангоуты. Как на кости у человека наведены жилы и кожа, так он обшивает досками изнутри и снаружи корабельный остов.

Своеобразной юриспруденцией, определявшей профессионально-деловые, а также морально-нравственные отношения промыслеников друг к другу, Шергин называет “Устьянский правильник” — попавшую ему в руки рукопись XVIII века. К пунктам правил, касающихся мореходно-промышленной среды, в “правильнике” были названы и правила общечеловеческого поведения: о вреде пьянства, об уважении старших, о заботливом отношении к сиротам и вдовам. Этот кодекс поведения вытекает из духа православного учения и потому столь близок автору.

Если учесть, в какие годы писалась эта книга, то можно понять подспудное желание автора противопоставить жестокости и беззаконию культа личности — “старую” Россию, которая перед революцией, “перед зорями” (а они по цвету бывают кровавыми) жила совсем иной, чем при Сталине, жизнью. В той, шергинской России жизненно-деловые отношения основаны на общинности, на разнообразных принципах самоуправления, на коллективной защите от произвола. В поморской общине развиты взаимопомощь, коллективизм, готовность к самопожертвованию, войсковое товарищество, — и Шергин в доказательство приводит примеры из трудных времен истории. Русский народ, каким Шергин рисует его в своем автобиографическом цикле, обладает исключительной стойкостью, способностью противостоять любым невгодам и бедам. Страна шергинского детства — это “святая Русь”, таящая в себе пророческий дух, это царство Божие на земле, где властвует живое сознание соборной ответственности всех за всех. “Шергин — это как бы рай, спущенный на землю, — писал Федор Абрамов. — Было ли это в жизни? Было. И всюду подмечал идеальное. Таков уж он был по складу своему. И отбор слова соответствующий. Нет плотскости... Страна идеальных отношений — не Беловодье ли

<sup>16</sup> Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989, с.213.

сказочное, о котором веками мечтал народ?”

Возвращение в мир детства для Шергина действительно было “путешествием в сказку”. Когда им овладевали удивительные, странные и сладостные грезы о красотах старины северной, где при нем в зодчестве, в женских нарядах, в быту еще царствовал XVII век, он вспоминал стихи “олонецкого ведуна”: “И страна моя Белая Индия преисполнена тайн и чудес”, — поет о Севере поэт Клюев. Это цитирование на страницах дневника стихов запрещенного в те годы поэта говорит не только о знакомстве Шергина с творчеством автора “Избяных песен”, но и о духовной близости двух писателей-северян. В нравственном воспитании и того, и другого роль религии была исключительно высокой. Они успели застать благодатное для России время, когда, по словам религиозного философа И.В.Киреевского, “бесчисленное множество маленьких миров, составляющих Россию, было все покрыто сетью церквей, монастырей, жилищ уединенных отшельников, откуда постоянно распространялись повсюду одинаковые понятия об отношениях общественных и частных. Понятия эти мало-помалу должны были переходить в общее убеждение, убеждение — в обычай, который заменял закон, устраивая по всему пространству земель, подвластных нашей церкви, одну мысль, один взгляд, одно стремление, один порядок жизни”<sup>17</sup>.

И когда на глазах Шергина и Клюева эти вековые устои начали рушиться, когда стала исчезать та почва, на которой зародились национальный характер и культура, писатели обратились памятью детства к “сказке”, к “Белой Индии”, где “правда и справедливость не могли ни продаваться, ни братья, но существовали сами по себе, независимо от условных отношений” (И.В.Киреевский).

Но, как писал в дневнике Шергин, “горе сердцу надвое мыслящу и грешнику на два пути ходящу!” Открыв книгу “У песенных рек” исполненными высокого и благородного чувства автобиографическими произведениями, он затем предоставляет место так называемым “новинам”, содержащим хвалу “вождю народов” Сталину, его военачальникам Ворошилову и Буденному, Сталинской Конституции. Здравницами в адрес Сталина переполнено и “Слово о Горьком”, составленное, по словам Шергина, на основе устных рассказов крестьян из Сумского посада и Пинеги.

Хотя в написании “новин” Шергин шел по проторенному фольклористами пути (в

тридцатые годы, на фоне затухания эпической поэзии, стало модным знакомить сказителей из народа с научно-популярными, газетными и журнальными статьями, освещающими современную жизнь, и подталкивать их к сочинению произведений о советской действительности), однако для него, человека совестливого, такая попытка приблизить народную поэзию к животрепещущим требованиям “великой эпохи” стала причиной духовного кризиса. Из дневников Шергина, датированных 1942—1953 годами, можно понять, что он не мог простить себе отступление от нравственных принципов юности. “Грешное тело и душу съело, — бичевал он себя. — Опали крылья у души, у мысли, у впечатлительности... Когда-то воспрянет душа моя и явит дело, а не будет растекаться в словесном балаболе?!”

То, что Шергин видел окрест, ужасало его: “Говорят, война кончилась... Нет, мир сей, век сей, житуха наша — война нескончаема. О мире сем древле сказано: “Человек человеку волк”. Воюют люди друг на друга люто и неустанно. Схватились в своей “борьбе за жизнь”, и разве мертвые отвалятся один от другого. Каждому надо урвать свое. Одни бьются и колотятся для того, чтоб ухватить корку хлеба для ребенка или покрыть хоть тряпицей какой трясушегося зимою брата, воюют, плача и проклиная, чтоб ухватить ломоть да снести его в тюрьму, больницу сыну, мужу, отцу... А эти вот сражаются остервенело, чтоб удесытерить запасы вин, хрусталья, пополнить коллекции всяких редкостей и драгоценностей”.

Шергин трагически воспринимает разрушение святого начала в русской душе. Он видит, что в результате проповеди классовой борьбы, проникновения антигуманистической идеологии в народное сознание, разбужены худшие, звериные инстинкты: “Ныне человек ослеп умом. Не видит Бога ни в чем, не чувствует сердцем”.

Еще больше, чем материальные затруднения, Шергина беспокоят расслабление и упадок религиозного духа, в том числе и в собственной душе. “Имя Божие не светится во мне”, — кается он.

Большие надежды Шергин возлагал на книгу “Поморщина-корабельщина” (М., 1947), в которую собрал все лучшее из ранее опубликованного. Сюда вошли старины об Авдотье Рязаночке, о Запаве Путятишне, Соловье Будимировиче; скomorошьи сказки о Шише и “небылицы”; цикл автобиографических произведений; новеллы “Машенька Кярстен”, “Мимолетное виденье” и другие. В довоенных отзывах книги Шергина обычно оценивались как “записи современного поморского фольклора”, и он решил не ме-

<sup>17</sup> Киреевский И.В. Русская идея. М., 1992, с. 230.

нять сложившегося мнения и во вступительном слове назвал "Поморщину-корабельщину" "моим репертуарным сборником". Для усыпления бдительности цензуры в книгу было включено идеологически безупречное "Слово о Горьком" и "Стих о числах", в котором десять раз повторялось двустипхи:

Один мудрый Сталин  
Всему миру славен.

Тем более неожиданным для автора было появление рецензии В.Сидельникова, где "Поморщина-корабельщина" была названа книгой псевдонародной, с каждой страницы которой "пахнет церковным ладаном и елемем, веет какой-то старообрядческой и сектантской "философией" ("Культура и жизнь", 1947, 30 мая). Тем самым "Поморщина-корабельщина" дополнила перечень книг, которые, согласно постановлению ЦК ВКП(б) о литературе и искусстве (1946), источали "проповедь безыдейности, аполитичности", а вовсе не отображали "жизнь советского общества в ее непрестанном движении вперед".

В.Сидельников писал свою рецензию в развитие принципов, которыми партия руководствовалась в своих решениях о литературе, и надо отдать должное бдительности критика: он проникательно уловил глубину и подлинность религиозного опыта Шергина, старообрядческие корни его убеждений.

От репрессий Шергина спасла прочно укрепившаяся за ним скоморошья маска старика-сказителя, человека безобидного и уважающего власть имущих, ни в чем предосудительном не замеченного. Если бы на его квартире был произведен обыск и обнаружены активно заполнявшиеся в те годы дневники, участь писателя была бы предрешена. Ничто бы не спасло человека, осмелившегося сказать в дневнике, что при Сталине "все страшнее и страшнее становится жизнь рода человеческого".

На Шергина рецензия В.Сидельникова произвела столь сильное впечатление, что долгие годы в беседе с близкими он называл газету "Культура и жизнь" не иначе как "Культура и смерть". И без того не отличавшийся творческой активностью, теперь он основное внимание уделяет дневнику, где размышляет о русском религиозном сознании, о живой и нерушимой связи настоящего с прошлым.

Перед читателем дневника Шергин предстает облаченным в смиренные одежды скорбящего, нищенствующего человека, который "не сумел стяжать имени и лавров". Он клянет себя за те прегрешения, когда ради куска хлеба забывал Бога. Он кается за обиды, причиненные родным и близким. Он

проклинает свое убогое существование, когда утро начинается с безрезультатных попыток обогреть жилище, найти несколько картофелин и заварку чая. Он с печалью пишет о своей инвалидной убогости, ранней слепоте и старости: "Всяко наг, всяко скуден и беден... С точки зрения "мира сего", я из тех людей, каких называют "несчастливыми". Без ног, без глаз. Еле брожу, еле вижу".

Тихий ужас вызывает у Шергина советская действительность, которая в его понимании является восстановлением варварства, крушением всех основ праведной жизни. Грех лживости, корысти, алчности уничтожает бывшие идеалы "святой Руси", оставляя за собой одну пустоту. Этот образ разрушающегося мира близок мировосприятию Аввакума, который в своем "Житии" тоже рисует картину падения устоев жизни, государства, церкви.

Как и Аввакум, Шергин находит силы для сопротивления в многовековой традиции русского христианства, в авторитете русских святых, в христианской идее о неизбежности воздаяния за терпение, беду, страдание: "Так мало счастливых, в такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сил страдающих спокойнее быть для совети своей. С плачущими, алчущими, изгнанными, скорбящими, тружущимися и обремененными куда почетнее шествовать путь жития своего".

Шергин не оговорился, когда в дневнике написал о "житие своем". По многим признакам можно судить, что близкое знакомство с распространенными на Севере древнерусскими житиями святых повлияло на форму и содержание его дневников. И там, и здесь рассказывается о жизни благочестивого человека; значительную часть занимает проповедь, предметом которой служат религиозно-нравственные истины; эти истины рассматриваются на примере исторических лиц и событий. Если несколько веков назад "единственный интерес, который привязывал внимание общества, подобно древнерусскому, к судьбам отдельной жизни, был не исторический или психологический, а нравственно-назидательный", то и сегодня дневники Шергина вызывают обостренный интерес прежде всего "в тех общих типических чертах или нравственных схемах, которые составляют содержание христианского идеала и осуществление которых, разумеется, можно найти не во всякой отдельной жизни"<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988, с.366.

Духовностью своей и высокой кротостью Шергин поража́л воображение близких к нему людей, почитавших его за святого. “Весь он в моей памяти как бы окутанный сиянием, — пишет Владимир Личутин. — ...Та долгая духовная работа, коей без остатка отдался писатель, то совершенствование, порой изнурительное, похожее на лютейшую немилость и каторгу, именно та бесконечная духовная и мыслительная работа наложила на облик писателя свой отпечаток, по-иному вылепили его. Он облагородился и освятился, печать иночества сотворила иное лицо. Оно стало прекрасно... Осиянный человек слепыми глазами всматривался в огромную обитель души, и свет, истекая, невольно заражал радостью и меня”.

Воплощенное в дневниках Шергина его “житие” неразлучно соединились для Личутина с представлением о святой жизни, исполненной любовного отношения к волшебной книге природы, к каждой малой твари вокруг себя, ко всему сущему; исполненной уверенности в том, что “человек должен светить из себя”.

Долгие двенадцать лет Шергин не имел возможности выйти к читателю с новой книгой, и заполнение дневников позволяло сохранить силу и глубину религиозного воодушевления, твердую веру в нравственный прогресс, в неизбежное пришествие царства Божия: “В этот сияющий день, в этот час бегущих облаков, когда эолова арфа ветра пела в бронзовых ветвях прекрасного дуба, когда сердце и ум трепетали, радостно внимая вечно юным и вещим глаголам древнего мудреца, я сладко ощутил, узнал и увидел: вот здесь, вот это и есть невыразимая слабymi моими словами — “слава Отцу и Сыну и Святому Духу!”

Творчество Шергина подвергалось обструкции в те послевоенные годы, когда о царской России стали говорить как о “тюрьме народов”, а следовательно, о необходимости самобичевания и искупления “вины” русских перед другими народами; когда в системах воспитания и образования пропагандировалась идея о превращении населения России в новую историческую общность — “советский народ”.

Лишь в 1959 году вышла книга Шергина “Океан — море русское”, получившая широкую известность благодаря рецензии Л.Леонова, назвавшего книгу “копилкой добротной севернорусской речи”<sup>19</sup>.

С этого времени начинается бурный рост популярности писателя. Еще при жизни у

него выходят книги “Запечатленная слава” (М., 1967), “Поморские были и сказания” (М., 1971), “Гандвик — Студеное море” (Архангельск, 1971). О творчестве Шергина появляются десятки статей в столичных и провинциальных журналах. Юрий Галкин берется за расшифровку дневников писателя и публикует книгу “Борис Шергин: Златая цепь” (М., 1982).

Такой взрыв интереса к творчеству Шергина совпал с переменами в политической жизни страны, наступившими после смерти Сталина. На фоне “оттепели” в среде русской интеллигенции начала возрождаться загубленная в двадцатые годы патристическая национальная идеология. Наиболее зримое воплощение она нашла в творчестве писателей, посвятивших свое перо изображению русской деревни. Православие было для таких писателей, как В.Белов, В.Личутин, А.Яшин, последним бастионом русской жизни. Понимание величайшей ценности православия заставляло писателей-деревенщиков сосредоточиться на бережном сохранении великого сокровища традиции. В глазах нового писательского поколения Шергин был одним из хранителей идеи русского православного мессианизма, по которому после падения Константинополя Русь превратилась в последнее православное царство, а русский народ стал эсхатологически “избранным” христианским народом. Островской идеологии оказалась проводимая через все произведения Шергина идея общности, предлагающая объединение, соборность русской нации в ее коллективном “домостроительстве”. Все это определило почетное место Шергина в ряду писателей ярко выраженной традиционалистской, национальной ориентации.

Среди многих книг, изданных уже после смерти писателя, наиболее полное представление о замечательном мастере слова давала книга “Изыскания мастера” (М., 1990), в которую вошли поморские былины и сказания, статьи, “беседные очерки” и дневник писателя. Составитель и автор предисловия Юрий Галкин лично знал Шергина; был одним из немногих, кто проводил его в смертный путь; был первым, кто взял на себя труд по расшифровке дневниковых записей. Составленный им однотомник подобрал все лучшее, что было создано Шергиным. Композиция книги составлена с учетом прижизненных пожеланий писателя и выявила основные грани его творческой палитры.

Выяснилось, что в общем объеме творческого наследия Шергина непосредственно фольклорные записи (былины, сказки и пр.) не занимают главного места и заметно уступают документальным по форме и содержа-

<sup>19</sup> Леонов Л. — “Океан — море русское”. “Известия”, 1959, 3 июня.

нию произведениям автобиографического характера. Сюда относится открывающий книгу цикл “Отцово знание”, составленный из былей “Детство в Архангельске”, “Рождение корабля”, “Мурманские зуйки”, “Поклон сына отцу” и других. Все они отмечены вниманием к простым житейским подробностям из биографии родных и близких. Вновь, как и при анализе шергинских дневников, напрашивается параллель с ранними севернорусскими житиями, написанными до канонизации, независимо от церковной службы и отличавшимися по этой причине “большой простотой биографического рассказа, близостью его к действительности” (В.О.Ключевский). Шергин хорошо знал и любил древнерусское писательство тех времен, умевшее один и тот же предмет излагать простой, безыскусственной речью или наряжать его в торжественную одежду пышных слов и ухищренных оборотов. Под влиянием популярного в Поморье жития Варлаама Керетского писатель создал “Старину о Варлааме Керетском”, опубликованную в книге “Запечатленная слава”. Шергина привлекало в древнерусском агиобиографе отмеченная в трудах В.О.Ключевского полнота фактического изложения, желание сбегать, записать черты ушедшей жизни. В прозе Шергина нередко используются такие распространенные приемы житий, как витиеватые предисловия, частые риторические отступления, похвальное слово в виде авторского послесловия. И в то же время Шергин отказывается от практики установившихся во второй половине XVII века церковных форм жития и предпочитает им простую разговорную речь.

Помимо древнерусского писательства, в своих автобиографических произведениях Шергин следовал давно установившейся в русской литературе практике “собираания камней”, когда писатель вспоминает годы детства и юности и создает на этой основе проникнутые лирическим чувством рассказы и повести. Такого рода личный материал положен в основу трилогии “Детство”, “Отрочество”, “Юность” Льва Толстого — писателя, которого Шергин ценил за талант “изображать судьбу человека внимательно, последовательно, детально”, так что “чувство эстетического удовлетворения все время сопровождает работу нашей мысли”. В этом отношении автобиографическая проза Шергина прямо противоположна горьковской традиции разоблачения “темноты” дореволюционного бытия (“Детство”, “В людях”, “Мои университеты”) и берет истоки из широкого раздолья русской литературы XIX века, которую, на взгляд Шергина, “создавали люди глубокой мысли, высоких стремлений”.

В работе над словом Шергин брал пример с Чехова, которого он любил и у которого учился “лаконизму, простоте, изяществу, высокой художественности”. На Пришвина Шергин равнялся в таланте “видеть и понимать природу, и землю, и всякую тварь, на ней живущую”.

Шергин никогда не был писателем-социологом, и ведущие тенденции общественной жизни менее всего отразились в его произведениях. В своем обращении к народной жизни, к фольклору, к истории он исходил из внутренней потребности создать исконно национальную по своему характеру, формам и духу литературу, которая бы утверждала народную веру в победу добра через воссоздание светлого самобытного мира Святой Руси.

Автобиографическая проза писателя — это своеобразное “Житие Бориса Шергина”, в которое влетены поверья старины и бытовые реалии; сюжеты из фольклора, летописей и философские размышления над “скрытым” смыслом явлений; лирические картины вечной прекрасной природы и тонкий анализ человеческих чувств. Все это объединено единым религиозным мироощущением автора, который в поисках вдохновения принимает к “Ангелу Русскому” Сергию Радонежскому, молится “валаамским преподобным Сергию и Герману”, многим другим святым, выражает радость, что он “родился в православной церкви и долее мне, и люблю мне в ней пребывать”.

Идеям христианства следует Шергин в изображении дорогих его сердцу “государей-кормщиков”, “изящных мастеров”: ведь “христианство подняло ценность духовной стороны человека, принизив плоть как что-то греховное” (А.Н.Веселовский). Потому в портретах кормщиков Маркела Ушакова, Устьяна Бородатого, Ивана Рядника, резчика Евграфа и живописца Василия Вопящина, сказителей Марии Кривополеновой и Пафнутия Анкудинова Шергин предпочитает не замечать чуждое ему “вещественное, плотское, осязаемое”, а выписывать дорогую его сердцу “глубокую и чистую искренность человеческую”.

Шергину был близок “человек великого и острого ума, великого сердца” Тютчев по той причине, что тот “был религиозен”, в своем творчестве прикоснулся “к миру горнему”. Но и восхищаясь Тютчевым, Шергин переживает его “срывы”, когда “поэт как бы не находит Бога и в небе, и в природе”: “Даже у Тютчева живы и живут в нас, и вечны, и могущественны лишь тема смысла существования, тема Бога, темы философские, также несравненные типические описания природы, картин природы. А темы полити-



ческие уже отошли. Не трогают нас, сколько бы пафоса ни влагал сюда поэт...”

Сам Шергин старался быть в стороне от столь непредсказуемого и опасного труда, как политика, хотя временами тоже допускал “срывы” и слагал сказы о вождях страны Советов, о прелестях современной жизни, которую тайком от всех, в дневнике, сравнивал с “нужником”, где “окроме дерьма нет ничего”. Но так же, как у Тютчева “темы политические уже отошли”, так и у Шергина вечной и могущественной осталась лишь тема смысла существования, тема Бога, несравненные картины природы, живой самобытный язык и ярко национальные характеры “государей-кормщиков” и “изящных мастеров”.

Вместо коммунистической доктрины Шергин, будучи истинно православным писателем, предложил обществу опираться на исторические и традиционные элементы русской культуры и попытался в своих дневниках, статьях, прозе выработать “русскую идею”, вокруг которой могла бы сплотиться Россия и которая включала бы: приверженность чувству патриотизма и государственности; православие — как основу мировоззрения; чувство социальной справедливости; приоритеты духовных ценностей перед материальными; соборность, общинность, коллективизм.

В своем настойчивом обращении к читательскому сердцу, в своем призыве построить храм в человеческой душе (“Ты сам будешь храм, ино куда пришел, там и служба Божия, там и тишина”) Шергин исходил из глубоких общинных устоев повседневной жизни русского народа. Не удивительно, что помимо поэзии Н.Клюева Шергин близко к сердцу воспринимал лирику С.Есенина. В посмертно опубликованных в книге “Изящные мастера” воспоминаниях “Есенин” Шергин рассказывает о случайной встрече с поэтом зимой 1921 года на московской улице. “Как дыхание весны, взвеселила мне душу радостная, милая приветливость этого удивительного человека”, — пишет Шергин.

Философские и религиозные идеи Шергина были подхвачены новым поколением писателей-деревенщиков шестидесятых—семидесятых годов. Проза Ф.Абрамова, В.Белова, А.Яшина и многих других пронизана единой мыслью, выраженной в речи Ф.Абрамова на Шестом съезде писателей СССР: “Нельзя заново возделывать русское поле, не возделывая души человеческие, не мобилизуя всех духовных ресурсов народа, нации”.

Благодаря памяти и таланту Шергина, севернорусский фольклор продолжает оставаться неотъемлемой частью нашей духовной культуры, сохраняет и сейчас былое значение как один из основных источников подлинной народной литературы.

“Неповторимым волшебником слова” называл Шергина Федор Абрамов. Вспоминая о своем посещении Шергина в его московской квартире, Абрамов упоминал поразивший его “святившийся лик”, неторопливую, умиротворяющую речь. “Впечатление. Побывал в XVI—XVII веках, а может быть, у истоков. Святой, и вещий баян, и монах, и летописец. Всего было в нем намешано. И просто — доброта”. Абрамов писал об особой, шергинской, красоте слова; о человечности художнической души писателя; о “беспорочной чистоте”, “искренности ребенка, святого старца, всемудрого, отрешившегося от всех земных страстей, научившегося всех прощать”. Автор тетралогии “Пряслины” далее проводил параллель между древнерусской литературой, живописью — и прозой Шергина: “Рублевская троица приходит на ум, когда читаешь Шергина. Оттуда этот дух русского смирения и неизъяснимой светочности, душевной красоты..” Для Абрамова, родившегося в советское время и воспитанного совсем на другой культуре, Шергин был истинным откровением: “Такого писателя до него в русской литературе не было... Искусство Шергина сродни иконе. Икона — в литературе. И сродни народному творчеству”.

Последним певцом из долгого рода сказителей, поддерживавшим неугасимую лампаду тысячелетий поэзии, называл Шергина писатель Владимир Личутин: “Груз бытия, который почти отряхнул с плеч писатель, уже не пригнетал его, и Шергин мог наблюдать за землею почти с горных вершин. Пятнадцать лет слепоты не замкнули певца во мраке... Шергин помнил памятью любви: это редкостный дар. Он воздвиг Белый скит в сердце своем, но не замолкнул в одиночестве, не затворился в гордыне от горящего и ликующего люда, но с помощью ясного, доверчивого слова как бы всех позвал в свою обитель... Много ли Шергин пробыл в родном Поморье, но зато до смерти странствовал по своей памяти: это был, наверное, самый неустанный ходок, но каждый раз он неизменно возвращался в отчие края, как сын. Шергин был хранителем народной памяти и жил лишь ею”.